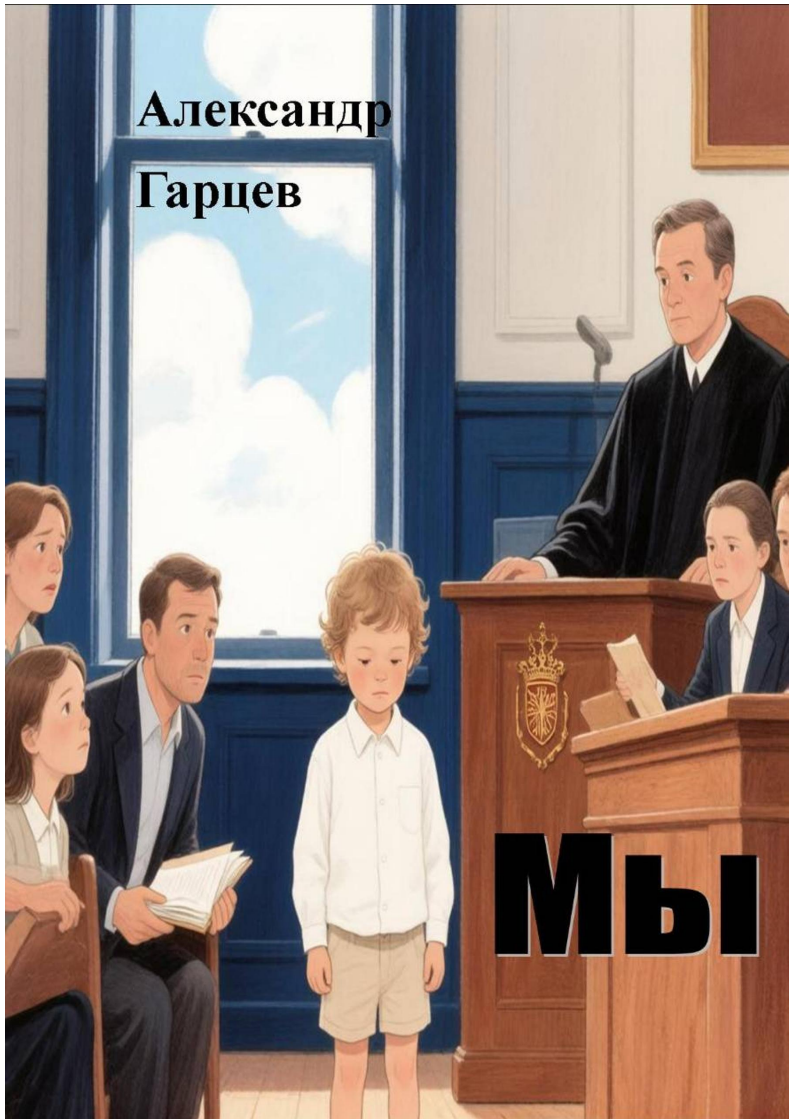


Александр

Гарцев



Мы

Александр Гарцев

Мы

<https://litres.ru/73984016>

SelfPub; 2026

Аннотация

В повести сетевого писателя Александра Гарцева "Мы" рассказана история не о разводе.

Она о том, как ребёнок становится моральным зеркалом для взрослых.

Семь лет — возраст, когда обещания взрослых кажутся нерушимыми. Но осенью 1991 года мир Миши Верещагина раскалывается вместе со страной, в которой он живёт.

Родители разводятся, и мальчик, который не в силах выбрать между мамой и папой, перестаёт говорить.

Содержание

Глава 1. Ожидание у окна	4
Глава 2. Слово, которого не было	11
Глава 3. Логика разрыва	19
Глава 4. Диагноз молчания	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Александр Гарцев

Мы

Глава 1. Ожидание у окна

Ноябрь 1991. Пермь. Панельная пятиэтажка на левом берегу Камы.

Окно запотело. Миша нарисовал на стекле пальцем человечка — получилось похоже на букву «А» без палочки посередине. Человечек смотрел во двор. Как и сам Миша.

Он сидел на подоконнике, поджав ноги в шерстяных колготках. За окном — ноябрьская темень, которая начинается уже в четыре. Светились три фонаря из семи. Четвертый моргал, будто кому-то подмигивал, а три дальних погасли ещё в прошлом месяце, и дворник дядя Вася сказал, что лампочек теперь «достать нереально».

— Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать... — тихо считал Миша.

Он всегда так делал, когда ждал. Ждал, пока мама закончит разговор по телефону. Ждал, пока бабушка допечёт пирог. Ждал, пока папа вернётся с завода.

Сейчас он ждал папу.

Из кухни тянуло пирогами. Бабушка Зинаида Петровна пекла с капустой, потому что Миша любил «хрустящие

края». По радио — по старенькому «Спидоле», который стоял на холодильнике, — говорили про свободу.

«...гласность открыла нам глаза, но теперь мы должны учиться жить без иллюзий...»

Миша не понимал, что такое «гласность». Ему казалось, это когда стекло прозрачное, но за ним темно. Как сейчас.

— Восемнадцать, девятнадцать, двадцать...

Он сбился, потому что в подъезде хлопнула дверь. Не парадная — та, что из квартиры этажом ниже. Там жила тётя Рая, которая всегда кричала на своего кота. Кот молчал. Миша думал, что кот, наверное, умеет терпеть.

Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Фонарей больше не было.

— Миша, слезай, — сказала бабушка, заходя в комнату. — Окно холодное.

Она вытерла руки о фартук — белый, в мелкий горошек, который она носила ещё когда мама была маленькой. Бабушка всегда пахла пирогами и старыми книгами. И ещё чуть-чуть — мятой, потому что клала сушёную мяту в чай, даже когда никто не просил.

— Папа придёт? — спросил Миша, не слезая.

Бабушка помолчала. Всего секунду. Но Миша заметил. Он замечал такие вещи: как взрослые останавливаются между словами, будто наступают на что-то хрупкое.

— Папа задерживается, — сказала она. — У них на заводе... собрание.

Миша кивнул. Он знал слово «собрание». Оно означало, что папа придёт поздно, уставший и с папкой, в которой лежат чертежи. Иногда он давал Мише посмотреть. Синие линии, белая бумага, в углу штамп: «Завод им. Дзержинского». Миша думал, что Дзержинский — это кто-то вроде Деда Мороза, только без бороды.

— А мама?

— Мама скоро вернётся. Из редакции.

Редакция — это тоже такое слово, которое означало «долго». Мама всегда уходила утром и возвращалась, когда уже темнело. Приносила свёрнутые газеты, пахнущие типографской краской — терпко и чуть сладко, как земля после дождя. Последнее время она часто говорила: «Свобода слова — это главное, Миша». Он не понимал, почему слова могут быть несвободными. Слова же не сидят в клетке.

— Иди пить чай, — сказала бабушка. — С малиновым вареньем.

Миша слез. Шерстяные колготки оставили на подоконнике влажный след — от того, что он дышал на стекло, рисуя человечков.

Вечером они сидели на кухне. Бабушка налила чай в кружку с треснувшим оленем — Мишину любимую. На хлебнице лежала «Докторская» колбаса, нарезанная тонкими кружочками. Мама называла их «колёсиками». Папа называл «прокладками» и смеялся, но Миша не понимал шут-

ки. Ему нравилось «колёсики».

— Бабуль, а почему папа не позвонил?

— Занят, Мишенька.

— А у них телефон есть?

— Есть. Но... — бабушка помешала чай в своей кружке, старомодной, с подстаканником, который она привезла из Ленинграда ещё при жизни деда. — Сейчас на заводе не до звонков.

Миша хотел спросить, почему «не до звонков», когда до звонков всегда должно быть «до», но в прихожей щёлкнул замок.

Он соскочил с табуретки быстрее, чем бабушка успела сказать «осторожно». Босиком — туфельки сбросил ещё в коридоре, когда входили с бабушкой с прогулки, — побежал на звук.

Мама стояла у вешалки, стягивая перчатку зубами. Вязаный кардиган, тёмные волосы растрепаны, на щеке — красное пятно от мороза. От неё пахло улицей и ещё чем-то чужим, газетным.

— Мам!

— Миша, родной, — она наклонилась, поцеловала в макушку. Волосы у неё были холодные, и Миша вздрогнул. — Ты не спишь ещё?

— Жду папу.

Мама замерла. Так же, как бабушка днём. Только дольше. И глаза у неё стали другие — не тёплые, как обычно, а будто

запертые.

— Папа... — она выпрямилась, повесила пальто на плечики. Пальто было новое, чёрное, с большими пуговицами. Миша его раньше не видел. — Папа, наверное, придёт поздно.

— Бабушка говорила.

— Вот видишь.

Мама прошла на кухню. Миша — за ней. Бабушка молча подвинула стул. Мама села, взяла кружку, но пить не стала. Только смотрела в окно — на то, что было за стеклом: темнота, мокрый снег, и где-то там, на заводе, папа.

— Лена, — тихо сказала бабушка. — Ты бы поела.

— Не хочу.

— А надо.

— Зинаида Петровна, не начинайте.

Так. Если мама называла бабушку по имени-отчеству — значит, боялась, что та скажет что-то, чего мама не хотела слышать. Миша знал это правило.

— Я не начинаю. Я заканчиваю. — Бабушка встала, поставила перед мамой тарелку с пирогом. — Детям нужен режим. И тебе тоже.

— Миша, иди чистить зубы, — сказала мама, не глядя на сына.

— Но я ещё не пил чай...

— Иди, — голос мамы дрогнул. Только чуть-чуть. Но Миша услышал.

Он сполз с табурета. Пошёл в ванную. Зубы чистил долго, потом пил воду из-под крана, хотя нельзя было. Потом вернулся в коридор и сел на пуфик — облезлый, коричневый, который дед называл «оттоманка».

Из кухни доносились голоса. Не слова — только музыка речи. Миша разбирал интонации: мамина — резкая, как расчёска, бабушкина — ровная, как лист бумаги. И то, что между ними, — пустота. Как в фонаре, который перегорел.

Он подошёл к окну в коридоре. Оно выходило на лестничную клетку. Там было темно — лампочка перегорела ещё в октябре. Жёлтый свет пробивался только снизу, от первого этажа.

Миша прижался щекой к стеклу. Холодное.

— А они обещали, — прошептал он сам себе.

Но что обещали? Кто обещал?

Он уже не помнил.

Утром он проснулся от того, что в квартире было тихо. Слишком тихо. Обычно папа вставал в шесть, гремел кружками, брился электробритвой, которая жужжала как шмель. Сейчас — ничего.

Миша вылез из-под одеяла. Кот Васька, спавший в ногах, недовольно мяукнул. Миша прошлёпал в комнату родителей.

Дверь была приоткрыта. Он заглянул.

Папина кровать — пустая. Простыня натянута, подушка взбита. Так заправляют, когда кровати никто не касался.

— Он не пришёл, — сказал Миша в пустоту.

Никто не ответил.

В тот день он впервые нарисовал семью — всех троих: папу, маму и себя. Но папу нарисовал отдельно, за тонкой линией, которую сам назвал «речка». А потом взял ластик и стёр линию.

Ластик оставил дыру. Сквозь неё была видна кухня, где бабушка резала хлеб, не глядя на нож.

На радио сказали, что Союза больше нет. Миша не понял, что это значит. Он думал, «Союз» — это когда все вместе.

А теперь, выходит, не все.

Глава 2. Слово, которого не было

Декабрь 1991. Пермь.

Он проснулся от того, что кто-то плакал. Не всхлипывал — так плачут, когда хотят, чтобы никто не слышал. За стенкой. На кухне.

Миша лежал под одеялом, глядя в потолок. На потолке были трещины. Если долго смотреть, они складывались в карту. Папа говорил: «Это как реки. Видишь, тут Волга, а тут Кама». Миша тогда спросил: «А где мы?» Папа показал на пятно у люстры: «Здесь. Пермь». Это было до того, как папа стал задерживаться.

Сейчас на потолке не было карты. Были просто трещины.

Плач за стенкой стих. Кто-то сказал шёпотом — бабушка: «Лена, возьми себя в руки». Мама ответила — не словами, а тем звуком, который издаёт горло, когда в нём застряло что-то большое и острое.

Миша сел. Ноги сами нашли тапки — серые, вязаные, с помпонами, которые бабушка связала к прошлому Новому году. Помпоны уже не пушистые, закатанные. Он прошёл в коридор.

Кухонная дверь была закрыта. Но за ней — свет. Миша видел щель снизу: полоска жёлтого. И слышал голоса.

— ...не говори при нём.

— А когда говорить, Зинаида Петровна? Когда он сам до-

гадается? — мамин голос был чужой. Тонкий, как натянутая нитка. Чуть дёрни — порвётся.

— Догадываться он будет в любом случае. Но ваша задача — объяснить.

— А что объяснять? Что его отец...

— Лена.

Тишина. Долгая. Такая, в которой кто-то не дышит.

Миша стоял босиком на холодном линолеуме. Тапки он снял — не специально, просто забыл надеть. Ступни заледенели. Но он не уходил.

— Он сам ушёл, — сказала мама. Теперь не тонко, а глухо. Как если бы она говорила в подушку. — Я его не выгоняла.

— Я не сужу. Я говорю: Миша должен знать.

— Что он должен знать? Что папа теперь живёт у Сергея? Что он подал на развод? Что мы будем делить комнату в коммуналке, потому что квартиру он хочет продать?

Миша не знал слова «развод». Но он знал слово «делить». В детском саду воспитательница говорила: «Делитесь игрушками». Это значило: отдать другому то, что ты держишь в руках.

А если делить комнату? Или квартиру? Что тогда отдаёшь?

— Елена, — бабушка говорила теперь не шёпотом, а голосом, который не терпит возражений. — Ты мать. И ты должна...

— Я должна? Я всегда должна. Должна была терпеть.

Должна была молчать. Должна была делать вид, что мы семья. А теперь я имею право...

— На что ты имеешь право?

— На свою жизнь.

Миша отступил на шаг. Потом ещё на один. Спиной он наткнулся на вешалку, и та заскрипела — старый деревянный скрип, который всегда пугал его по ночам. Сейчас не испугал. Сейчас всё было страшнее, чем скрип.

Он вернулся в комнату, залез под одеяло. Васька, кот, пошевелился, пододвинулся ближе, заурчал. Миша погладил его по голове — шерсть сухая, тёплая, живая.

— Они обещали, — сказал он коту. Тихо-тихо. — Они же обещали.

Кот не ответил.

Утром бабушка налила ему манной каши. С комочками. Миша не любил комочки, но сегодня не сказал. Просто ел. Молча.

За окном было серо. Мокрый снег падал и тут же таял. Дворник дядя Вася стоял посреди двора, держа метлу, но не махал ей. Смотрел куда-то вверх — на небо, на провода, на чёрные окна первого этажа, где раньше был магазин, а теперь пустота.

— Миша, — сказала бабушка, садясь напротив. — Папа сегодня не придёт.

Он поднял глаза. Бабушкино лицо было спокойным —

спокойным по-особенному. Как у доктора, когда он говорит: «Будет больно, но нужно потерпеть».

— Он вообще теперь будет редко приходить, — добавила бабушка. — Но это не значит, что он тебя не любит.

Миша хотел спросить: «А что это значит?» Но не спросил. Потому что боялся ответа.

Вошла мама. Волосы мокрые — только что мыла голову. Кардиган новый, тёмно-синий. Она не смотрела на Мишу. Смотрела в окно. На двор, на снег, на дядю Васю с метлой.

— Миша, — сказала она. — Мы с папой... расходимся.

Слово «расходимся» было похоже на «разойдёмся». Как в детской игре, когда говорят: «Раз, два, три — разойдись». Только там все расходились, а потом снова сходились.

— Навсегда, — добавила мама, будто прочитала его мысли.

Тишина. За окном закаркала ворона. Каркнула раз, другой, третий. Потом улетела.

Миша взял ложку. Достал комочек каши. Положил обратно в тарелку.

— Ты понял? — спросила мама.

Он кивнул.

Он не понял. Но кивать было легче, чем говорить.

Днём пришла тётя Оля из двадцать второй. Соседка. Она принесла хлеб — чёрный, кирпичиком, который давали по карточкам. Бабушка и тётя Оля говорили на кухне, а Миша

сидел в комнате, рисовал.

Он рисовал дом. Квадрат, треугольник сверху, окно. Рядом — дерево. На дереве — ворону. Ворона получилась толстая, некрасивая, но Миша её не стёр.

Из кухни долетали слова: «алименты», «раздел имущества», «суд». Миша не знал, что такое «алименты». Ему казалось — это что-то острое, как скальпель в кабинете зубного. «Раздел» он уже слышал. «Имущество» — это, наверное, то, что можно потрогать. Папины чертежи. Мамины книги. Кота Ваську. Его самого — тоже можно потрогать.

Значит, и его будут делить?

Он зажал карандаш так, что тот хрустнул. Грифель сломался.

— Миш, — тётя Оля заглянула в комнату. — Ты как?

Он пожал плечами.

— Молчишь? Ну молчи, молчи. Иногда молчание лучше.

Она ушла. Запах от неё остался — дешёвые духи и табак. Миша подышал этим запахом, потом открыл форточку. Впустил холодный воздух. Ветер донёс запах мокрой земли и бензина.

Скоро зима. Настоящая, с морозом. Папа обещал поставить новые рамы.

Папа теперь не поставит.

Миша взял новый лист. Нарисовал папу. Потом взял ластик — тот самый, который оставлял дыры — и стёр папины глаза.

Оставил лицо пустым, белым, без взгляда.

Потом добавил на листе много маленьких слов, которые слышал сегодня. Он не умел писать — только печатными буквами. Вывел:

АЛИМЕНТЫ

РАЗДЕЛ

СУД

Он не знал, что эти слова значат. Но чувствовал: они тяжёлые. Он сложил лист вчетверо и спрятал под кровать. Туда, где спал Васька.

Васька понюхал бумагу, чихнул и отвернулся.

Вечером мама сидела на кухне одна. Плакала. По-настоящему, в голос, не прячась. Миша стоял в коридоре и слушал.

Он хотел подойти. Обнять. Сказать: «Не плачь, мама». Но слова застряли где-то в горле. Как комок манной каши, который нельзя проглотить.

Он открыл рот.

Ничего не вышло.

Открыл ещё раз.

Тишина.

Миша испугался. Побежал в ванную, встал перед зеркалом. Открыл рот широко — как учил логопед в садике: «А-а-а-а!»

Губы шевелились. Язык двигался.

Звука не было.

— А... — прошептал он. То есть попытался прошептать. Получилось дыхание. Тёплое, влажное, бессловесное.

Он сжал кулаки. Ударил ими по краю раковины. Больно. Хорошо. Боль — это звук. Хруст в пальцах. Звук есть.

А голоса нет.

Из кухни донеслось — мама сказала сквозь слёзы:

— Он хотя бы не плачет. Слава богу, не плачет.

Миша посмотрел на своё отражение. Глаза сухие. Лицо белое. Губы сжаты.

Он не плакал.

Он просто убрал карандаш. Спрятал. Потому что рисовать больше не хотелось. Потому что слова, которые он слышал, нельзя было нарисовать. Потому что мир, который он знал, кончился.

А новый не начинался. Был только этот день — длинный, серый, полный слов, которых не должно было быть.

Ночью бабушка зашла в его комнату. Поправила одеяло. Пощупала лоб — не горячий ли. Миша лежал с открытыми глазами. Смотрел в потолок.

— Не спишь, маленький?

Он не ответил. Не потому, что не хотел. Потому что не мог.

Бабушка помолчала. Потом наклонилась, поцеловала в щеку. От неё пахло пирогами и мятой.

— Ничего, — сказала она. — Переживём.

Миша закрыл глаза. Но не спал. Слушал, как капает вода в ванной. Кап-кап-кап. Как тикают часы на кухне. Тик-так, тик-так.

И как внутри него самого — ничего. Пустота. Место, где раньше были слова.

Они ушли. И он не знал, вернуться ли.

Глава 3. Логика разрыва

Декабрь 1991. Пермь. Утро субботы.

За окном — ни снега, ни солнца. Серая пелена, как вата, которую забыли вынуть из ушей. Двор исчез: ни деревьев, ни скамеек, ни дяди Васи с метлой. Только молочная муть, в которой угадываются очертания панельной пятиэтажки напротив. Где-то там, за этой мутью, — завод, вокзал, Кама. Но кажется, что весь мир кончился за форточкой, а то, что осталось, — это кухня, запах вчерашних пирогов и тишина.

Сегодня суббота. Раньше по субботам папа брился, надевал свитер с оленями и вёл Мишу в парк. Кормить голубей. Голуби сейчас, наверное, сидят под крышами, нахохлившись, и ждут, когда кто-нибудь бросит крошки. Но крошек никто не бросит.

Миша сидит на табурете. Тот самый, который скрипит, если крутиться. Он не крутится. Он смотрит в тарелку. Каша остыла, покрылась плёнкой. Её можно снять пальцем — плёнка смешная, похожа на целлофан. Обычно он снимал и кидал в кота. Сейчас нет.

— Ешь, — говорит бабушка.

Он не ест.

— Миша, я сказала.

Он поднимает ложку. Проводит по каше. Опускает.

Бабушка вздыхает. Этот вздох тяжелее, чем обычно. В

нём что-то сломалось — как будто она хотела сказать много слов, но все они застряли в горле и выходят только одним звуком.

В одиннадцать пришёл папа.

Миша узнал его шаги за три пролёта. Тяжёлые, уверенные, но с запинкой — будто на каждой ступеньке папа останавливался, думал, а потом снова шёл. Ключ в замке повернулся не сразу. Два раза прокрутил, третий — щёлк.

Папа вошёл. В дублёнке, в шапке-ушанке, щёки красные от мороза. На плече — сумка, в которой раньше были чертежи. Сейчас она почти пустая, болтается.

— Здравствуйте, — сказал папа. Голос чужой. Как по радио, когда диктор говорит про погоду.

— Здравствуй, Андрей, — ответила бабушка. Не «Андрюша». «Андрей». Миша это заметил.

Мама вышла из спальни. Она была в халате, волосы не расчёсаны. Никогда раньше мама не выходила к папе в халате. Всегда одевалась, даже если просто воды попить.

— Пришёл, — сказала мама. Не вопрос. Констатация.

— Надо поговорить, — папа повесил дублёнку на вешалку. Миша смотрел, как капает с рукавов. Талая вода падает на пол, оставляет тёмные пятна. — При Мише?

— Он должен понимать, — мама скрестила руки. — Не маленький.

— Ему семь, Лена.

— А мне тридцать два. И я тоже хочу жить.

Миша не смотрел на них. Он смотрел на пятна от папиной дублёрки. Они росли, соединялись, становились лужицей. Похоже на карту. Вот сейчас соединились — и получился остров. Маленький, одинокий.

Они сели на кухне. Все трое: папа, мама, бабушка. Как на совещании. Миша остался в комнате, но дверь не закрыли. Он слышал всё.

— Я подал заявление, — сказал папа. — В пятницу.

— Я знаю. Мне позвонили из суда.

— Ты не хочешь попробовать...

— Пробовать что? — мамин голос стал острым. Как нож для хлеба, которым режут, но не нажимают. — Ещё пять лет попробовать? Андрей, я устала.

— Я тоже устал.

— Ты устал от того, что завод не платит. А я устала от того, что ты стал чужим.

Тишина. Бабушка заварила чай. Засвистел чайник — старый, алюминиевый, с обгоревшим дном. Бабушка выключила газ, но чайник продолжал свистеть ещё секунду, по инерции.

— Давайте по-человечески, — сказал папа. — Без истерик.

— Это я истеричка?

— Я не говорил...

— Ты сказал «без истерик». Значит, я истеричка.

— Лена, прекрати.

— Саша, — это бабушка. — Давайте о Мише. Не о себе.

Снова тишина. Теперь другая — виноватая. Миша представил, что она похожа на тряпку, которой вытирают пол. Серая, мокрая, липнет к рукам.

— Я не буду против, — медленно сказал папа, — если он останется с тобой.

— Не будешь против? — мама засмеялась. Злым смехом, которого Миша никогда не слышал. — Спасибо, Андрей. Ваше благородие.

— А что ты хочешь? Чтобы я сказал: «Я забираю сына»? Так ты не отдашь.

— Не отдам.

— Вот видишь. Поэтому — пусть будет, как решит суд.

— Суд решит, что ребёнку нужна мать.

— Нужен и отец, — сказала бабушка. — Не надо калечить.

Миша закрыл уши ладонями. Но ладони не спасали. Слова всё равно проходили — сквозь кожу, сквозь кости, сквозь то место внутри, где раньше жил смех.

В комнату зашёл папа. Осторожно, как в чужую квартиру. Оглядел полки, рисунки на стенах, кота на подоконнике.

— Миша, — папа сел на край кровати. — Поговорим?

Миша сидел за столом. Перед ним — чистый лист. Короб-

ка с карандашами. Он взял синий.

— Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?

Миша нарисовал линию. Прямую, как рельс.

— И мама тебя любит.

Вторая линия. Параллельная.

— Просто мы больше не можем жить вместе. Так бывает.

Миша начал рисовать третью линию, но она получилась кривой. Он стёр. Нарисовал снова.

— Ты меня слышишь, сынок?

Папа положил руку на Мишино плечо. Тёплая, тяжёлая. Раньше эта рука подбрасывала его до потолка. Раньше эта рука учила завязывать шнурки. Сейчас она просто лежала. Чужая.

Миша поднял глаза. Посмотрел на папу. Долго. Так, что папа не выдержал — отвёл взгляд.

— Всё решит логика, — сказал папа, скорее себе, чем Мише. — Так будет проще для всех. Ты поймёшь, когда вырастешь.

Потом встал и вышел.

Миша остался сидеть. Смотрел на две синие линии. Потом взял красный карандаш и нарисовал между ними маленькую фигурку. Себя.

Он стоял между линиями. Без рук. Без ног. Просто точка.

Вечером пришла мама. Она плакала — не при Мише, но он видел красные глаза.

— Мишенька, — она обняла его, прижала к себе. Пахло от неё чужим — той самой свободой, о которой она говорила. — Это мой выбор. Я имею право быть счастливой. Ты понимаешь?

Он не понимал. Он знал только, что раньше они были вместе. А теперь папа спит где-то у Сергея, а мама спит одна и плачет по ночам. И он, Миша, спит с открытыми глазами, потому что боится закрыть — вдруг проснёшься, а никого нет.

— Мама, — попытался сказать он.

Ничего не вышло.

— Что, родной?

Он открыл рот. Язык двигался. Губы складывались в букву «м». Воздух выходил тёплый, влажный.

Звука не было.

— Ты что-то хочешь сказать? — мама всматривалась в его лицо.

Миша мотнул головой. Спрятал лицо у неё в плече. Чтобы не видела, что он открывает рот — и не слышит себя.

Поздно вечером бабушка застала его за рисованием. Он рисовал семью. Всех троих. Папу — слева, маму — справа, себя — посередине. Взял карандаш, обвёл всех одной линией — большой круг, как дом. Потом задумался.

Потом взял ластик и начал стирать папу.

Сначала плечо. Потом руку. Потом лицо.

Ластик был жёсткий, старый — от карандаша «Конструктор», который папа принёс с завода. Он оставлял тёмные разводы. Миша тёр до тех пор, пока бумага не истончилась, не порвалась.

В том месте, где был папа, осталась дыра.

— Миша, — тихо сказала бабушка. — Не надо так.

Он не слушал. Смотрел на дыру. Сквозь неё была видна скатерть — клетчатая, с выцветшими розами.

— Долг — не слово, а поступок, — бабушка положила руку ему на плечо. — Ты ещё маленький, но запомни: взрослые тоже ошибаются.

Миша поднял на неё глаза.

— А они обещали, — прошептали его губы.

Без звука. Только артикуляция. Но бабушка поняла.

— Обещали, — согласилась она. — И теперь им отвечать. Не тебе.

В коридоре хлопнула дверь. Папа уходил. Мама стояла у окна в кухне, смотрела на тёмный двор. Бабушка пошла мыть посуду.

Миша остался один.

Он взял листок с дырой, сложил его треугольником — как самолётик, который папа учил делать. Кинул в сторону окна. Самолётик не полетел. Упал на пол, расправился, и дыра смотрела в потолок.

Как открытый рот, который не может сказать ни звука.

Ночью бабушка зажгла свечу на кухне. Не от безысходности — по привычке. В её возрасте свечи помогали думать. Она перебирала старые фотографии: вот Миша в роддоме, вот Лена на свадьбе, вот Андрей с дипломом. Все улыбаются. Все были счастливы.

— Сердце не обманешь, — сказала она в пустоту. — И совесть тоже.

За стенкой закашлялся Миша. Сухо, надрывно. Бабушка хотела встать, налить тёплого молока. Но не встала. Потому что поняла: молоко не лечит то, что болит у этого ребёнка.

А вылечить может только правда. И время. И чудо.

Чуда пока не было.

Глава 4. Диагноз молчания

Январь 1992. Пермь. Детская поликлиника на окраине.

Снег идёт третий день подряд. Не праздничный, пушистый, как на новогодних открытках, — а злой, колючий, с мелкой крупой, которая бьёт в лицо и забивается за воротник. Небо — как старое ватное одеяло: серое, тяжёлое, висит над самой крышей. Город замер. Автобусы ползут медленно, люди идут, согнувшись, пряча носы в шарфы. Кажется, что снег этот никогда не растает, что он похоронит под собой и скамейки, и качели во дворе, и те следы, которые раньше вели от подъезда к папиной машине.

Детская поликлиника на улице Ленина — типовое здание из серого кирпича, с облупившейся штукатуркой и трещиной над входом, которую замазали белой краской, но трещина всё равно видна. Внутри пахнет хлоркой, мокрой одеждой и страхом. Этот запах липнет к ноздрям, не выветривается даже на улице. В регистратуре — длинная очередь из мам с капризными детьми, бабушек с авоськами и одного мужчины в телогрейке, который держит за руку девочку с красным от ветра лицом.

Миша сидит на деревянной скамье в коридоре. Ноги не достают до пола. Он смотрит на линолеум — серо-зелёный, в пупырышках, местами протёртый до дыр. На одной из дыр застряла жвачка, чёрная, расплющенная. Миша смотрит на

звачку уже пять минут. Может быть, десять. Он потерял счёт времени.

Рядом — мама. Она сегодня в своём новом чёрном пальто с большими пуговицами. Пальто красивое, но мама в нём кажется чужой. Не такой, как дома, в вязаном кардигане. Сейчас она — как та женщина из газеты, чей портрет печатают рядом с умными статьями. Деловая, собранная. Но губы кусает. И пальцы теребят край шарфа — жёлтого, бабушкиного.

— Миша, — говорит мама. — Доктор Громов — хороший врач. Он тебе не сделает больно.

Миша молчит. Он давно уже не пробовал говорить. Язык во рту — как мокрая тряпка, тяжёлая и бесполезная. Иногда он открывает рот, когда никто не видит, шевелит губами — без звука. Проверяет: работает ли. Работает. Но звука нет.

Из кабинета выходит женщина с мальчиком. Мальчик плачет. Женщина шипит на него: «Перестань, не больно же». Мальчик не перестаёт. Миша думает: а может, ему действительно больно? Просто не там, где колют укол. А там, где не видно.

— Верещагины? — из двери выглядывает медсестра в белом колпаке. — Заходите.

Кабинет невролога маленький и тесный. Стол, два стула, кушетка, застеленная простынёй, — простыня мягкая, на ней чьи-то тёмные волосы. На подоконнике — фикус в горшке.

Фигус чахлый, листья поникли. Окно выходит во двор, где стоит мусорный бак, доверху забитый, и снег уже не белый, а серый.

Доктор сидит за столом. Ему за сорок, в волосах — седая прядь. На левом предплечье, поверх свитера, — халат. Не застёгнутый, как будто доктор только что вошёл и не успел. Лицо спокойное, глаза внимательные, но не колючие. Таковыми глазами смотрят на то, что нельзя починить, но можно понять.

— Здравствуйте, — говорит доктор. Не «здравствуйте» громко и бодро, как в детском саду, а тихо, почти шёпотом. — Садитесь.

Мама садится. Миша остаётся стоять, вцепившись в край её пальто. Доктор смотрит на него. Долго. Миша отводит глаза.

— Михаил, — доктор произносит имя полностью. Взросло. — Ты меня слышишь?

Миша кивает. Один раз. Коротко.

— Ты не хочешь говорить?

Пауза. Миша смотрит на фикус. У того три листа. Один совсем жёлтый.

— Не можешь? — уточняет доктор.

Мама хочет что-то сказать, но доктор поднимает руку — мягко, не резко. Жест, который означает: «Подождите».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.